

Перечитывая Куприна

Перечитывая Куприна, думая, между прочимъ, о времени его славы, вспоминаю его отношеніе къ ней. Другіе — Горькій, Андреевъ, Шалапинъ — жили въ непрестанномъ упоеніи своими славами, въ непрерывномъ чувствованіи ихъ не только на людяхъ, во всякихъ публичныхъ собраніяхъ, но и въ гостяхъ другъ у друга, въ отдѣльныхъ кабинетахъ ресторановъ, — сидѣли, говорили, курили съ ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компаніи и свою фальшивую дружбу этими къ каждому слову прибавляемыми «ты, Алексѣй, ты, Леонидъ, ты, Федоръ...» Купринъ же, даже въ тѣ годы, когда едва ли уступалъ въ русской славі не только Горькому, Андрееву, но и Шалапину, несъ ее такъ, какъ будто ровно ничего новаго не случилось въ его жизни. Казалось, что онъ не придаетъ ей ни малѣйшаго значенія, ни въ грошъ не ставитъ ее, дружить, не разстается только съ прежними и новыми друзьями и собутельниками вродѣ Маныча... Слава и деньги дали ему одно — уже полную свободу дѣлать въ своей жизни то, чего моя нога хочетъ, жечь съ двухъ концовъ свою свѣчу, посылать къ чорту все и вся.

— Я не честолюбивъ, я самолюбивъ, — какъ-то сказала я ему по какому-то поводу.

— А я? — быстро спросилъ онъ. И на минуту задумался, сощуривъ, по своему обыкновенію, глаза и пристально взглядываясь во что-то вдаль. Потомъ зачастилъ своей армейской скороговоркой: — Да, я тоже. Я самолюбивъ до бѣшенства и отъ этого застѣнчивъ иногда до низости. А на честолюбіе не имѣю даже права. Я писателемъ сталъ случайно, долго кормился чѣмъ попало, потомъ сталъ кормиться разсказишками, — вотъ и вся моя писательская исторія...

Онъ это часто повторялъ — «я сталъ писателемъ случайно». Это, конечно, не правда, опровергается его же собственными автобиографическими признаніями въ «Юнкерахъ». Но вотъ что правда и очень важная — это то, что, выйдя изъ полка и кормясь потомъ дѣйствительно самыми разнообразными

трусами, онъ кормился между прочимъ при какой-то кievской газеткѣ не только журнальной работой, но и «разсказишками». Онъ мнѣ говорилъ, что эти «разсказишки» онъ сбывалъ «за сушіе гроши, разумеется, но очень легко», а писалъ и того легче, «на бѣгу, на лету, поспыстывая» — и ловко попадая, по своей талантливости, во вкусъ редактору и читателямъ. И съ такой же ловкостью онъ и продолжалъ писать — уже не для кievской газетки, а для толстыхъ журналовъ.

Я сказалъ: «по своей талантливости». Нужно сказать сильнѣй: по своей чрезвычайной талантливости. Всѣмъ извѣстно, въ какой средѣ онъ росъ, гдѣ и какъ провелъ свою молодость и съ какими людьми общался главнымъ образомъ всю свою послѣдующую жизнь. А что онъ читалъ? И гдѣ и когда? Въ своемъ автобиографическомъ письмѣ къ критику Измаилу онъ говоритъ:

— Когда я вышелъ изъ полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никакихъ знаній ни научныхъ, ни житейскихъ. Съ ненасытимой и до сей поры жадностью я накинудся на жизнь и на книги...

Но надолго ли накинудся онъ на книги? На жизнь дѣйствительно надолго, что же до книгъ, то тутъ слова «и до сей поры» весьма сомнительны. Все его развитіе, все образование совершалось тоже «на бѣгу, на лету», давалось ему и усваивалось имъ истинно по Божьей милости, по его способностямъ, слѣдствіемъ чего и вышло нѣчто удивительное — то, что въ смыслѣ — какъ бы это сказать? — интеллигентности, что ли, — уровень его произведеній былъ вполне обычный. Нужно помнить еще и то, что онъ всю жизнь жилъ, такъ что просто непостижимо, какъ онъ могъ при этомъ писать, да еще такъ ясно, крѣпко, здраво, вообще въ полную противоположность съ тѣмъ, какъ онъ жилъ, какимъ былъ въ жизни, а не въ писательствѣ.

Какъ онъ жилъ, какимъ былъ въ жизни, извѣстно слишкомъ многимъ. И вотъ что замѣчательно: та разница, которая была между тѣмъ, какъ онъ жилъ и какъ писалъ. Критики безъ конца говорили о необыкновенной «стихійности», «непосредственности» его произведеній, о той «первичности переживаній, которыми они плѣняются». Читаешь о немъ и сейчасъ то же самое: «Помѣшали Куприну стать великимъ писателемъ только стихійность его дарованія и истинно русская небрежность, слишкомъ большое довѣріе къ «нутру», въ ущербъ законченности и отдѣланности во всѣхъ смыслахъ... то, что онъ «не кончилъ консерваторіи», какъ говорили символисты о бытовомъ

как... «Въ своемъ творчествѣ Купринъ, по самой природѣ своей не-книжный человекъ, не вдохновлялся литературными сюжетами...» «Ни въ немъ, ни въ его герояхъ не было двойственности...» Все это требуетъ большихъ оговорокъ. Точно ли не было двойственности въ немъ? Жилъ онъ дѣйствительно «стихийно», «непосредственно», «по нутру» — тутъ ему и впрямь всякое море было по колѣно, все тринь трава, тутъ онъ такъ не цѣнилъ ни своего тѣла, ни ума, ни сердца, ни своей репутаци, что былъ и еще долго будетъ притчей во языцѣхъ. А какимъ былъ какъ писатель?

Нѣтъ, «консерваторію» онъ проходилъ (это ужъ другое дѣло, какую именно). И въ силу его талантливости, той быстроты, съ которой онъ набивалъ руку въ писательствѣ, далеко не все шло ему на пользу тутъ.

Это еще мелочи — то, что не мало было въ его разсказахъ даже и средней поры его писательства такихъ выраженій, какъ «шикарная женщина», «шикарный ресторанъ», «желѣзный законъ борьбы за существованіе», «его нѣжная, почти женственная натура содрогалась отъ грубыхъ прикосновеній дѣйствительности съ ея будничными, но суровыми нуждами», «стройная, граціозная фигурка Нины, личико которой обрамляли мягкія пряди пепельныхъ волосъ, неотступно носилась передъ его умственнымъ взоромъ...» Это еще полбѣды, — бѣда въ томъ, что въ талантливость Куприна входилъ большой даръ заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внѣшними, но и внутренними. И выходило какъ будто такъ: требуется что-нибудь подходящее для кievской газетки? пожалуйста, — въ пять минутъ сдѣлаю и, если нужно, не побрезгую писать чуть не вродѣ того, что «заходящее солнце косыми лучами освѣщало вершины деревь...»; надо написать разсказъ для «Русскаго Богатства»? и за этимъ дѣломъ не постоятъ, — вотъ вамъ «Молохъ».

— Заводскій гулокъ протяжно ревлѣлъ, возвѣщая начало рабочаго дня. Густой, хриплый звукъ, казалось, выходилъ изъ-подъ земли и никакъ разстилался по ея поверхности...

Развѣ плохо для вступленія въ смыслъ литературности? Все честь честью — вплоть до ритма двухъ этихъ предложеній, который едва ли уступить ритму фразы о заходящемъ солнцѣ съ его косыми лучами. Все какъ надо и дальше — есть все, что требуется по образцамъ даннаго времени и все, что полагается для разсказа о Молохѣ: «нѣжная, почти женственная натура» болѣзненно-нервнаго интеллигента, инженера Боброва, который доходитъ на своей страдальческой службѣ капитализму до мор-

финизма, архи-акула капитализма Квашинъ, выдающій замужъ за своего служащаго, подлаго карьериста, эту «стройную, граціозную» Нину, дочь другого заводскаго служащаго и возлюбленную Боброва, съ цѣлью сдѣлать ее своей любовницей, бунтъ доведенныхъ до отчаянія голодомъ и холодомъ рабочихъ, пожаръ завода...

Я всегда помнилъ тѣ многія замѣчательныя достоинства, съ которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покоѣ», «Лѣсная глушь», «Рѣка жизни», «Трусь», «Штабсъ-капитанъ Рыбниковъ», «Гамбринусъ», чудесные рассказы о Балаклавскихъ рыбакахъ и даже «Поединокъ» или начало «Ямы», но всегда многое задѣвало меня даже и въ этихъ рассказахъ. Вотъ, напримѣръ, въ «Рѣкѣ жизни», предсмертное письмо застрѣливашагося въ номерахъ «Сербія» студента: «Не я одинъ погибъ отъ моральной заразы... Все прошлое поколѣніе выросло въ духѣ набожной тишины, насильственнаго почтенія къ старшимъ, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчанія и нищества, это благоденственное и мирное житіе подъ безмолвной сѣнью благочестивой реакціи!» Это ли «литература»? Потому я долго не перечитывалъ его и, когда теперь рѣшилъ перечитать, тотчасъ огорчился: я сперва сталъ только перелистывать его книги и увидаль на нихъ множество моихъ давнишнихъ карандашныхъ отмѣтокъ. Вотъ кое что изъ того, что я отмѣчалъ:

— Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человѣческій трудъ кипѣлъ здѣсь, какъ огромный, сложный и прочный механизмъ. Тысяча людей собралась сюда съ разныхъ концовъ земли, чтобы, повинувъсь желѣзному джону борьбы за существованіе, отдать свои силы, здоровье, умъ и энергію за одинъ только шагъ впередъ промышленнаго прогресса... («Молохъ»)

— Весь противоположный уголь избы занимала большая печь, и съ нея глядѣли, свѣсившись внизъ, двѣ дѣтскія головки съ выгорѣвшими на солнцѣ волосами... Въ углу, передъ образомъ, стоялъ пустой столъ, и на металлическомъ прутѣ спускалась съ потолка висячая убогая лампа съ чернымъ отъ копоти стекломъ. Студентъ присѣлъ около стола, и тотчасъ ему стало такъ скучно и тяжело, какъ-будто онъ пробылъ здѣсь много, много часовъ въ томительномъ и вынужденномъ бездѣйствіи...

— Окончивъ чай, онъ (мужикъ) перекрестился, перевернулъ чашку вверхъ дномъ, а оставшійся крошечный кусочекъ сахару бережливо положилъ обратно въ коробочку...

— Въ оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя все одну и ту же докучную, безконечную жалобу...

— Къ чему эта жизнь? — говорил онъ (студентъ) со страстными слезами на глазахъ. — Кому нужно это жалкое, нечеловѣческое прозябаніе? Какой смыслъ въ болѣзняхъ и смертяхъ милыхъ, не въ чемъ-не повинныхъ дѣтей, у которыхъ высасываетъ кровь уродливый болотный кошмаръ? («Болото»).

— Станный звукъ внезапно нарушилъ глубокое ночное молчаніе... Онъ пронесся по лѣсу низко, надъ самой землею, и стихъ... («Лѣсная глушь»).

— Онъ открывалъ глаза и фантастическіе звуки превращались въ простой скрипъ полозьевъ, въ звонъ колокольчика на дышлѣ; и попрежнему разстилались и налѣво и направо спящія бѣлые поля, попрежнему торчала передъ нимъ черная, согнутая спина очередного ящика, попрежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные въ узелъ хвосты...

— Позвольте представиться: мѣстный приставъ и, такъ сказать, громовержецъ — Ирисовъ, Павелъ Афиногеновичъ... («Жидовка»).

Право, трудно было не отмѣчать всѣ эти тысячу разъ пѣтыя и перепѣтыя, обязательно «свѣшивающіяся съ печки» дѣтскія головки, этотъ вѣчный огрызокъ сахару, муху, которая «точно повторяла докучную жалобу», чеховскаго студента изъ «Болота», тургеневскій «странный звукъ, внезапно пронесшійся по лѣсу», толстовскую дремоту въ саняхъ («попрежнему равномерно двигались лошадиные крупы...»), этого громовержца пристава, фамилія котораго ужъ непременно Ирисовъ или Гіацинтовъ, а отчество Афиногеновичъ или Ардаліоновичъ, и опять это самое что ни на есть чеховское въ «Мелюзгѣ», — разговоры затерянныхъ гдѣ-то въ сѣверныхъ снѣгахъ учителя и фельдшера:

— Иногда учителю начинало казаться, что онъ, съ тѣхъ поръ, какъ помнить себя, никуда не выѣзжалъ изъ Курши... что онъ только въ забытой сказкѣ или во снѣ слышалъ про другую жизнь, гдѣ есть цвѣты, тепло, свѣтъ, сердечные, вѣжливые люди, умныя книги, женскіе нѣжные голоса и улыбки...

— Я всегда, Сергѣй Фирсычъ, думалъ, что это хорошо — приносить свою, хоть самую малюсенькую пользу, — говорилъ учитель фельдшеру. — Я гляжу напримѣръ на какое нибудь прекраснѣйшее зданіе, на дворецъ или соборъ, и думаю: пусть имя архитектора останется безсмертнымъ на вѣки вѣчные — я

радуюсь его славі и я совсѣмъ не завидую ему. Но вѣдь и незамѣтный каменщикъ, который тоже съ любовью клалъ свой кирпичъ и обмазывалъ его известкой, развѣ онъ также не можетъ чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что ты съ тобой — крошечные люди, мелюзга, но если человечество станетъ когда-нибудь свободнымъ и прекраснымъ...

Въ разсказѣ «Нарцисъ» я отмѣтилъ описаніе свѣтскаго салона, какую-то баронессу и ея пріятельницу Бэтси, — да, это ужъ неизбежно: Бэтси! — и прозовой вечеръ, — «въ густомъ, раскаленномъ воздухѣ чувствовалась надвигающаяся гроза», — и тотъ первый поцѣлуй влюбленныхъ, который уже тысячу разъ соединяли писатели съ «надвигающейся грозой»... Въ «Ямѣ» отмѣтилъ то мѣсто, гдѣ «огоньки зажглись въ зеленыхъ длинныхъ египетскихъ глазахъ артистки, пѣніе которой такъ потрясло дѣвицу публичнаго дома, что даже самъ авторъ воскликнулъ совершенно серьезно: «Такова власть генія!»

Потомъ я сталъ читать, взявъ первую попавшуюся полъ руку книгу, прочелъ первый разсказъ и огорчился еще больше. Книга эта начинается разсказомъ «На разъѣздѣ». Содержаніе его таково: ѣдутъ по желѣзной дорогѣ въ одномъ и томъ же купѣ случайно встрѣтившіеся въ пути какой-то молодой человекъ, молодая женщина, у которой была «тоненькая, изящная фигурка и развѣвающіеся пепельные волосы», и ея мужъ, гнусный старикъ чиновникъ, изображенный крайне ядовито: «Господинъ Яворскій не умѣлъ и не могъ ни о чемъ говорить, кромѣ своей персоны, собственныхъ ревматизмовъ и гемороевъ и на жену смотрѣлъ какъ на благопріобрѣтенную собственность...» Этотъ старикъ день и ночь настаиваетъ, пилитъ свою несчастную «собственность», ревнуетъ ее къ молодому человеку, говоритъ и ему грубости и тѣмъ самымъ еще болѣе раздуваетъ загорѣвшуюся между молодыми людьми любовь, въ которой они въ концѣ концовъ и признаются другъ другу на остановкѣ на какомъ-то разъѣздѣ, гдѣ ихъ поѣздъ оказывается рядомъ съ другимъ, встрѣчнымъ, поѣздомъ, а признавшись, перебѣгаютъ въ этотъ поѣздъ, рѣшивъ бросить старика и соединиться навѣки. Тутъ молодой человекъ страстно воскликнулъ: «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина «вмѣсто отвѣта спрятала свое лицо у него на груди».

Потомъ я перечиталъ то, что больше всего забылъ: «Одиночество», «Святую любовь», «Ночлегъ» и военные разсказы: «Ночная смѣна», «Походъ», «Дознаніе», «Свадьба»... Первые три разсказа опять оказались слабы: и по неубѣдительности фабулы и по исполненію, — написаны подъ Мопасана и Чехо-

ва и опять ужъ такъ ладно, такъ гладко, такъ «умѣло»... «У Вѣры Львовны вдругъ явилось непреодолимое желаніе прильнуть какъ можно ближе къ своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкаго человѣка, согрѣться его тепло-той... То и дѣло легкія тучки набѣгали на свѣтлый и круглый мѣсяцъ и вдругъ окрашивались причудливымъ золотымъ сіяніемъ... Вѣра Львовна впервые въ своей жизни натолкнулась на ужасное сознаніе, приходящее рано или поздно въ голову каждаго чуткаго, вдумчиваго человѣка, — на сознаніе той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вѣчно стоитъ между двумя близкими людьми...» Но съ военныхъ разсказовъ дѣло пошло уже иначе, я все чаще сталъ внутренно восклицать: отлично! Тутъ опять все немножко не въ мѣру ладно, гладко, опытно, но все это переходитъ въ подлинное мастерство, все другой пробы, особенно «Свадьба», разсказъ, не заставляющій, не въ примѣръ прочимъ названнымъ, думать: «охъ, сколько тутъ Толстого и Чехова!» — разсказъ очень жестокой, отдающій злымъ шаржемъ, но и блестящій. А когда я дошелъ до того, что принадлежитъ къ порѣ высшаго развитія купринскаго таланта, къ тому, что я выдѣлилъ выше, — «Конюкрады», «Болото» и такъ далѣе, — я, читая, уже не могъ думать о недостаткахъ этихъ разсказовъ, хотя въ числѣ ихъ есть и крупныя; тутъ дешевая идейность, желаніе не отстать отъ духа своего времени въ смыслѣ облечительности и гражданскаго благородства, тамъ заранѣе обдуманное намѣреніе поразить драматической фэбулой и почти свирѣпымъ реализмомъ... Я уже не думалъ о недостаткахъ, я только восхищался разнообразными достоинствами разсказовъ, тѣмъ, что преобладаетъ въ нихъ: свободой, силой, яркостью повѣствованія, его мѣткимъ и безъ излишества щедрымъ языкомъ, очень хорошимъ, въ конечномъ счетѣ...

Вотъ еще статья о немъ — строки человѣка, долго и близко его знаващаго, извѣстнаго критика Пильскаго:

— Купринъ былъ откровененъ, прямъ, быстръ на отвѣты, въ немъ была радостная и открытая пылкость и безхитростность, теплая доброта ко всему окружающему... Временами его сѣро-синіе глаза освѣщались чудеснымъ свѣтомъ, въ нихъ сіяли и трепетали крылья таланта... Онъ до самыхъ послѣднихъ лѣтъ мечталъ о совершенной независимости, о героической смѣлости, его восхищали времена «желѣзныхъ временъ, орловъ и великановъ»... Онъ былъ наивный, прилежный и жестокой...

Въ этомъ родѣ и еще будутъ не мало писать, будутъ опять и опять говорить, сколько было въ Купринѣ «первобытнаго,

звѣринаго», сколько любви къ природѣ, къ лошадямъ, собакамъ, кошкамъ, птицамъ... Во всемъ этомъ много правды, и я вовсе не хотѣлъ сказать, говоря о разницѣ между Купринимъ писателемъ и Купринимъ человѣкомъ, — такимъ, какимъ его характеризуютъ почти всѣ, — будто никакъ не проявлялся человѣкъ въ писателѣ: конечно, все таки проявлялся, и чѣмъ дальше, тѣмъ все больше.

«Теплая доброта Куприна ко всему живущему» или, какъ говорить другой критикъ: «купринское благословеніе всему міру»... И въ этомъ есть правда. Однако, надо помнить, что эти слова больше всего приложимы только къ послѣдней порѣ жизни и творчества Куприна.

10.IX.1938.

Приморскія Альпы.

Ив. Бунинъ.